

Максим Горький

Из прошлого



Максим Горький

Из прошлого

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=666295

Аннотация

«На Крутую меня назначили «весовщиком», но вешать там нечего было, и обязанность моя заключалась в проверке грузов, которые шли на Поворино Грязе-Царицынской дороги и на Калач Волго-Донской ветки...»

Содержание

Максим Горький

Из прошлого

На Крутую я был переведён зимой 1889 или 90 года со станции Борисоглебск, где заведовал починкой брезентов и мешков, руководя работой весёлых казачек, которые работали очень лениво, но ловко воровали мешки для своих хозяйственных нужд и превосходно пели донские песни. Очень помню Серафиму Бодягину, бойкую «жолнерку»¹; она обладала голосом редчайшей густоты, – итальянцы зовут такие голоса «бассо профондо» – глубокий бас, – владела она им отлично, и любимой песней её была такая:

Поехал казак на чужбину далече,
На борзом своём, вороном он коне,

эти слова Серафима пела задумчивым говорком, – «речитативом», а хор, голосов двадцать, подхватывал:

Свою он краину навеки покинул,
Ему не вернуться в отеческий дом.

Работали в открытом пакгаузе, на холоде; со степи набегал резкий ветер, царапал бабам лица, точно рашпилем; мимо пакгауза двигались вагоны с хлебом, жмыхом, с подсол-

¹ «жолнер» – польский солдат; здесь, вероятно, – солдатка – *Ред.*

нечным маслом; пыхтели, посвистывали, маневрируя, паровозы, а казачки, работая за три гривенника в день, пели торжественно и печально:

Напрасно казачка его молодая
И утро и вечер до полночи ждёт,
Всё ждёт, поджидает: с далекого края
Когда её милый казак прилетит.

Красивые песни были у них; я записал десятка три, но один приятель взял их у меня «почитать» и потерял. А Серафима понесла чиненые мешки в кладовую и попала под пассажирский поезд. Ей отрезало колёсами левую руку с плечом и голову.

На Крутую меня назначили «весовщиком», но вешать там нечего было, и обязанность моя заключалась в проверке грузов, которые шли на Поворино Грязе-Царицынской дороги и на Калач Волго-Донской ветки. Из вагонов назначения на Калач нужно было перегружать в вагоны на Поворино товары с персидского берега из Астары, Узун-Ада и др., это я делал вместе со сторожем Черногоровым-Крамаренком. Но это случалось не так часто, а главным делом моим была проверка бочек рыбы, которая шла с Волжской через Крутую на Поворино. Обычно с Волжской приходило от четырнадцати до двадцати поездов в сутки, составом не более, кажется, шестнадцати платформ. Пока паровоз маневрировал, я бегал с платформы на платформу с накладными в руках, а ночью —

ещё с фонарём у пояса. Работа требовала некоторого знания акробатического искусства, потому что машинист дёргал состав весьма бесцеремонно, а бочки – скользкие или обмёрзли, прыгать с одной на другую было неудобно, особенно же неудобно зимними ночами, в метель.

Проверять грузы необходимо было, потому что от Волжской на Крутую по подъёму поезда шли медленно и этим очень пользовалось удалое казачество, – бочки сельдей, севрюги, бочата икры фокусно исчезали. В ту пору Грязе-Царицынская дорога до того прославилась воровством на ней, что начальнику товарного отдела М. Е. Ададурову разрешено было пригласить на службу «политически неблагонадёжных», как людей, которые не умеют и не станут воровать.

Почему-то мне кажется, что на Крутой всегда, зимою и летом, буйствовал ветер, а в тихие, летние ночи людей истязали комары. Станция стояла «на пустом месте», как говорил её начальник; кроме станционных зданий, никаких жилищ вокруг её не было, и не было никаких людей, кроме служащих. По направлению к Волге, верстах, если не ошибаюсь, в двух, существовала деревня Пески, а версты на четыре в степь – небольшая казацкая станица, забыл – какая. Ежедневно на Крутой стояли по минуте пассажирские поезда Калач – Царицын; каждый час вползали с Волжской товарные, катились пустые вагоны и платформы из Калача, с Поворина. День и ночь по путям станции двигались, фырка-

ли, посвистывали локомотивы, стучали буфера вагонов, бегали стрелочники, два великомученика; дико орал длинный смазчик Мирославский, бывший семинарист; работал богобоязненный «составитель» Егоршин; бабы и девицы из Песок чистили пути, но вся эта суэта была однообразна, люди всегда одни и те же. И хотя в двенадцати верстах был богатый уездный город, со множеством паромных пристаней, с двумя вокзалами, но по ночам я всё-таки чувствовал себя заброшенным «к чёрту на кулички», в какую-то шумную бестолковщину, среди которой однако нужно было «держать ухо востро». Уже в первые дни Мирославский предложил мне, очень просто и как нечто обычное, «вступить в долю», получать «полтину» с каждой краденой бочки сельдей и по трёшнице «с места персидского груза». А когда я сказал, что не пойду на это, – он очень искренно удивился и спросил:

– На кой же чёрт нужен ты?

Товарищ по работе, милый человек Крамаренко, предупреждал:

– Ты, Максимыч, осторожно ходи-говори, тебя жандарм не любит. Он с Тихомировым обыск делал в казарме, Тихомиров ему книжки-тетрадки твои читал.

А через некоторое время предупредил и сам жандарм, толстый, равнодушный старик Петров:

– Тихомиров жалуется, что ты в бога не веришь. Гляди – за это не хвалят.

Жандарм, машинист водокачки Мицкевич, Егоршин и

старший телеграфист Тихомиров жили дружно, играли в карты. Помощник начальника станции Ковшов страдал запоем, запоем же читал уголовные романы; он очень берёт книги, никому не давал, но в своё дежурство увлечённо рассказывал телеграфистам, мне и всем, кто хотел слушать, приключения парижских воров и сыщиков. Он был человек болезненно самолюбивый, злой и любил похвастаться неудачами и несчастиями своей жизни. Среднего роста, но коротконогий и толстый, он казался маленьким, а лицо у него было серое, как студень, с круглыми и неглупыми глазами, с едкой усмешечкой на толстых губах. Тихомиров, мрачный брюнет, бритый досиня, был глуп, седьмой год учился играть на скрипке, но играл всё ещё только гаммы; он терпеть не мог людей, которые читают книги, и убеждал Ковшова:

– От книг ты и пьёшь.

Было на станции ещё несколько уже совсем бесцветных людей, о которых ничего не скажешь. Были женщины, почему-то все беременные, но детей я не замечал, дети прятались по квартирам. У начальника станции две дочери-девицы и тощенькая, сердитая жена. Всех этих людей ветер зимою солил снегом, летом – горячим песком, и Черногоров, принюхиваясь к ветру, говорил мне:

– Этот – с Уральска. А этот – с верха Волги. Из Красноярска песок.

Черногоров обошёл Каспий кругом.

– Как муха по краям тарелки ополз-ошагал, – говорил он.

Был он одним из тех русских одиноких людей, которые живут как бы поневоле, углубясь в какую-то неисчерпаемую думу. Ко всем окружающим он относился внимательно и ласково, как большой к маленьким, но никогда никого не учил. Нередко, ночами, я видел, что он на ходу точно спотыкался обо что-то и, остановясь, с минуту смотрел под ноги себе.

Начальником станции был Захар Ефимович Басаргин. Служебную карьеру свою он начал стрелочником на станции Царицын. Это был недюжинный человек, один из тех талантливых русских «самородков», которыми всегда была богата, а особенно теперь может гордиться наша удивительная страна.

Когда я попал под его крепкую и безжалостную руку, ему было лет полсотни, но – сухонький, крепкий, ловкий – он казался значительно моложе. Лицо у него – копчёное, темнокожее, в сероватой, растрёпанной бородке; под густыми бровями, в глубоких ямах – горячие, острые глаза янтарного цвета. Походка лёгкая, быстрая, на ходу он как-то подпрыгивал, жесты – резкие, голосок – сиповат, но властный. Меня он встретил подозрительно и даже враждебно, – я был прислан из Борисоглебска, от управления дороги и, может быть, прислан для шпионажа.

Как человек, прошедший тяжёлую школу жизни, он превосходно умел эксплуатировать людей, заставлял их рабо-

тать так, что только косточки трещали. Станцию держал в образцовом порядке, и скоро я отметил, что хотя служащие уважают его, но боятся, не любят. Они, с первых же дней, стали настраивать меня против него, но я уже достаточно повертелся «в людях» и не верил, когда мне говорили о человеке слишком плохо. Ангелов на путях моих я не встречал, сам тоже был мало похож на ангела.

Боевые мои отношения с Басаргиным начались с того, что он отказался дать мне комнату в одном из станционных зданий. По должности «весовщика» я имел право на эту комнату, а Басаргин отправил меня жить в казарму, где жили сторожа и куда часто приходили ночевать бабы и девицы из Песок, очищавшие пути от снега. Казарма была далеко от станции, примерно в полуверсте. Ночами к этим гостям приходила холостёжь станции, не брезговали и женатые. Конечно, выпивали, веселились. Среди казармы стояла огромная неуклюжая печь, я помещался между нею и стеной, построив себе нару и стол, а на печи повизгивали бабы. Хотя я был молод и здоров, но энергия моя поглощалась размышлениями над Спенсером и Михайловским; бабы очень мешали мне размышлять, к тому же они ещё взяли привычку издеваться надо мною, а это было уже совсем плохо. И, когда одна из девиц, рябая красавица с зелёными глазами, стащив у меня тетрадь, куда я записывал мои соображения по социологии, содрала с неё обложку и, сделав из неё подруге и себе козырьки на глаза, уничтожила записи мои, я рассердился и

решительно потребовал у Басаргина:

– Комнату!

Он тоже рассердился, воткнул в меня глаза, как два шила, показал мне кукиш, и было ясно, что ему хочется избить меня. Но вместо этого он сказал:

– Идём!

И привёл меня в маленькую, очень светлую и тёплую комнату с двумя окнами в палисадник и во двор; вся комната с пола и почти до потолка была заставлена горшками цветов.

– Ну, куда же я цветы помещу, верблюды? – с тоской и с яростью спросил он меня. – Куда? Ты что – барин? Тебе, чёрту, может пуховую перину ещё нужно?

И великолепно, со страстью, он рассказал мне, что третий год уже выводит новый вид трёхцветной виолы.

– Виола триколор – понимаешь? – шептал он мне. – Отстань ты от меня!

В цветоводстве я ничего не понимал, но понял, что от комнаты надо отказаться, – на глазах Басаргина стояли слёзы. С этого часа мы подружились, и скоро я почувствовал к Басаргину искреннее уважение, потому что увидел: он умеет не только заставлять работать других, но изумительно эксплуатирует и все свои способности.

Его квартира была обставлена удобной, прекрасно сделанной мебелью, всю её он сделал своими руками, искусно украсив «рыбьим зубом», – в песках вокруг станции ветер обнажал множество каких-то трёхугольных костей, действи-

тельно похожих на зубы акулы. Он занимался гончарным делом, – все цветочные банки делал сам, обжигая их в печи казармы; изобрёл поливу, расплавляя бутылочное стекло, подкрашивая его суриком и ещё чем-то ярко-синим. Увидав у Грекова, начальника станции Волжская, «Аристон», модный в то время музыкальный ящик, он сам сделал и аристон. Чинил гармоники, усовершенствовал токарный станок, на котором работал; варил нефть с графитом, добиваясь сделать мазь, которая бы предохраняла шпалы от гниения, мечтал сконструировать «буксу», чтобы сократить трение оси. Эта букса особенно сводила его с ума, он рисовал её мне пальцем в воздухе, царапал ногтем на стенах, чертил карандашом, пером и жаловался:

– Эх, если б не служба, не дочери! Сделал бы я эту штуку. Сделал бы...

Он ложился спать в полночь, вставал в пять часов, а остальные девятнадцать вертелся, как обожжённый, бегал от гончарного круга к верстаку, пилил, строгал, клеил, пересаживал цветы, варил в котелке на костре какие-то мази, на ходу командовал, ругался, рассказывал злые анекдоты о начальстве; всегда, зимою и летом, в парусиновом пальто, промасленном нефтью, запачканном красками.

Весною он бешено обрадовался – расцвели его «виолы», и цветы их оказались поразительно похожи на бородатое человеческое лицо с широким синим носом и круглыми глазами.

– Видал, чёрт? Ага! – кричал он, подпрыгивая.

Он высадил цветы в клумбы вокзального палисадника, а через несколько дней какое-то важное начальство проездом в Калач, присмотревшись к цветам, захохотало:

– Но, – посмотрите, ведь это – рожа Ададунова.

Басаргин тоже визгливо и радостно засмеялся, и с той поры не только все на Крутой, но и проезжие служаки так и стали называть цветы: «Рожа Ададунова».

К весне на Крутой образовался «кружок самообразования», в него вошло пятеро: младший телеграфист Юрин, горбатый, злоумный парень; телеграфист с Кривой Музги Ярославцев; «монтёр весов», а проще сказать – слесарь Верин, разъезжавший по станциям проверять точность весов «Фербенкс», и царицынский наборщик, он же переплётчик – Лахметка, переплетавший книги Ковшова, человек необыкновенной душевной чистоты. Он был старше всех нас по возрасту и моложе всех душой; тоненький, стройный, светло-волосый, с голубыми глазами, глаза его ласково и радостно улыбались всему на свете, хотя он, «подкидыш», безродный человек, прожил на земле уже двадцать семь очень трудных лет.

По характеру моей работы я не мог ни на час отлучиться со станции, и связь с Царицыном была возложена на Лахметку. Я познакомил его с «поднадзорными» города, – в то время там жили М. Я. Началов, бывший ялutorовский ссыльный, Соловьёва – невеста сидевшего в тюрьме казанского

марксиста Федосеева, студент Подбельский, убитый в Якутске во время известного «вооружённого сопротивления властям»², саратовцы – братья Степановы, только что приехавшие из Берёзова, из ссылки, поручик Матвеев и ещё несколько человек. Эти люди снабжали нас книгами. Каждую субботу Лахметка приезжал на Крутую, Верин и Ярославцев тоже являлись более или менее аккуратно, и по ночам, в телеграфной, мы читали брошюру А. Н. Баха «Царь-Голод», «Календарь Народной воли», литографированные брошюры Л. Толстого, рассуждали по Михайловскому о «прогессе», о том, какова «роль личности в истории». Лахметке эта роль была особенно понятна: существует на земле, в России, в Царицыне, какая-то обидная и непонятная чепуха, теснота, и всё это необходимо уничтожить. Начинать надобно с истребления сусликов, саранчи, комаров и вообще всего, что извне мешает людям жить. А очистив землю от различных пустяков, расселить по ней городских жителей, чтобы они не теснились, не мешали друг другу.

– Чтобы каждый гадил на своей земле, а не у соседа, – объяснил злоумный Юрин.

У меня не было такого разработанного плана спасения людей от плохой жизни, но я с Лахметкой не спорил: всё равно, с чего начать дело, лишь бы поскорее начать. Не спорил и

² якутская трагедия 1889, кровавое подавление выступления политических ссыльных в Якутске, когда власти спровоцировали столкновение ссыльных и солдат. Множество жертв и казнённых – *Ред.*

потому ещё, что Лахметка был совершенно глух к возражениям; когда с ним не соглашались, он смотрел на несогласного так красноречиво, что было ясно: уступить он ни в чём не может, хоть на огне его жарь!

Иногда к нам заходил Черногоров и, постояв, послушав, решительно говорил:

– Все эти разговоры-словоторы никуда, парни! Мала пчела, а и та без бога не живёт, а вы хотите – без бога.

Но с богом у него отношения были тоже неладные: не нравилось ему, что бог скормил медведям сорок человек детей за то, что они посмеялись над лысиной пророка Елисея, и хотя я, «учёный», сомневался в том, чтобы медведи водились там, где гулял пророк, – Черногоров, отмахиваясь от меня, увещевал:

– А ты – брось это! Не маленький, пора перестать книжкам верить.

Но ещё больше, чем богова жестокость к детям, смущал его тот факт, что бог, неизвестно для чего, создал землю не везде одинаково плодородной и слишком обильно посыпал её песком.

– По тот бок Каспия песку насыпано – и-и – бугры! Конца-краю нет пескам. Это я не понимаю – зачем же?

Это с ним, с Черногоровым, произошёл случай, описанный мною в рассказике «Книга».

Да, так вот мы и жили. Чтение и беседы наши прерывались стуком телеграфного ключа, и по треску этому мы зна-

ли, когда соседняя станция спрашивает:

– Могу ли отправить поезд номер...?

Через некоторое время на станцию вкатывался поезд, и я бежал считать бочки.

Басаргин о наших ночных чтениях знал, и, если ему, в жаркие ночи, не спалось, приходил к нам в ночном белье, босой, встрёпанный, напоминая сумасшедшего, который только что убежал из больницы.

– Ну, – катать, катать, – я не мешаю! – говорил он, присаживаясь в конторе перед окошком телеграфа, но не мешал минуты три, пять, а затем, положив волосатый подбородок на полочку перед окошком, спрашивал нас, насмешливо поблескивая глазами:

– Будто – понимаете что-нибудь? Врёте. Я впятеро умнее вас, да и то ни слова не понимаю. Чепуху читаете. Вы лучше послушайте настоящее...

«Нестоящее» было очень далеко от «теории прогресса» и Спенсера учения о «надорганическом развитии», настоящее бойко рассказывало о том, как «личность» – стрелочник Захар Басаргин – лезла сквозь дикие заросли невероятно оскорбительной и трудной действительности к своей цели.

– Каждый должен жить, как в церкви, – учил он нас. – Чтобы всё вокруг блестело, и сам гори, как свеча! Трудов – не бойся!

Слушать его живую напористую речь было не менее ин-

интересно, чем разбираться в трудной словесности Спенсера и Михайловского. Я слушал жадно. Человек – нравился мне, а дела его – не очень. Вероятно, Захар Басаргин был одним из первых людей, наблюдая которых, я укреплялся в убеждении, что сам по себе человек хорош, даже очень хорош, а вот делишки его, жизнь его... так себе. Делишки-то могли бы лучше быть.

Теперь я дожил до времени, когда у всех людей есть возможность, а у многих и охота делать большие дела, и вот – я вижу – делают! Значит – не ошибся я: человек особенно хорош, когда он понимает, что, кроме его самого, никаких чудес на земле – нет и что всё хорошее на ней создаётся его волею, его воображением, его разумом.

Большинство людей на Крутой относилось ко мне враждебно. Ковшов подозревал, что Басаргин хочет женить меня на своей старшей дочери и продвинуть на его, Ковшова, место. Тихомирову я мешал, потому что он сам давно прицеливался на место Ковшова, а кроме того, он привык видеть себя умнейшим человеком на станции, с людьми разговаривал снисходительно, и с ним никто, кроме Басаргина, не спорил. Но мне часто и легко удавалось доказать поклонникам его ума, что он – невежда и враль, а люди типа Тихомирова считают разоблачение их вранья – кровным оскорблением. Машинист водокачки, страстный, но несчастливый картёжник, имел дурную привычку бить свою чахоточную жену и

косоглазенькую племянницу Юлию, которую все звали Жуликом за то, что она год тому назад похитила у кого-то печёное яйцо; с машинистом у меня «произошло столкновение на кулаках, после чего оба публично разодрались», как написал в рапорте жандарм Петров, медленно умиравший от сахарного мочеизнурения⁴ и поэтому равнодушный ко всем людям на станции. Егоршин благочестиво ненавидел меня за безбожие, а ещё больше за то, что я дружил с Крамаренком, который тихо и упрямо ухаживал за его молодой, но до истерики замученной женой.

Однако враги мои не могли не признать за мной некоторых достоинств: я научил всех баб станции печь хлеб лучше, чем они пекли, научил их делать сдобное тесто, варить пельмени и многим другим кулинарным премудростям. Я заливал худые резиновые галоши, вставлял стёкла в рамы и вообще немножко помогал бабам жить, кое в чём помогал и мужьям, делая это от избытка силы и от скуки однообразных трудовых дней. Было признано, что я «образованнее» Тихомирова, о котором Басаргин говорил:

– Никуда эта дубина не годна, кроме как жениться. В его года Христа уже распяли, Скобелев генералом был, а он всё ещё в дураках стоит.

Ежедневно по три часа Тихомиров играл гаммы, – Басаргин уговаривал его:

– Ты бы пожалел скрипку-то, лучше пилил бы старые шпа-

⁴ диабета – Ред.

лы на дрова.

Тихомиров, делая каменное лицо, урчал:

– Вы не можете музыку ценить, у вас уши волосами заросли.

А меня прямодушный Захар Ефимович убеждал:

– Сюртука нету у тебя? Плюнь на сюртук. Умишко – есть? Работать можешь? Выбери девицу, женись и делай жизнь по вкусу.

Программа эта не улыбалась мне, хотя между мной и старшей дочерью Басаргина уже возникла взаимная симпатия, девушка уже несколько раз слушала наши ночные беседы и чтения, сидя в саду под окном телеграфной, – входить к нам запрещала мать, очень сердитая женщина.

Всё это благополучие кончилось неожиданно и необыкновенно. Старые служаки Грязе-Царицынской дороги всячески старались «подсиживать ададуровцев», мешавших воровству в товарном отделе; пускались на различные хитрости и подлости, чтобы замарать «неблагонадёжных», поднадзорных. Начальником станции Калач был некто Артобалевский, кажется – бывший полицейский чиновник, а смотрителем товарных складов на Калаче служил киевлянин Амвросий Кулеш, бывший ссыльный, маленький, суетливый и не совсем душевно здоровый человек лет сорока. Амвросий Семёнович очень любил птиц, и однажды Артобалевский застал его, когда он, доставая из распоротого мешка горстями просо, кормил им голубей и воробьёв. Артобалевский по-

слал на него донос в правление дороги, обвиняя в порче и хищении груза. Кулеш был вытребован в Борисоглебск для объяснений, поехал и – пропал.

А через несколько дней в «Царицынском листке» появилась корреспонденция, сообщавшая, что между станциями, – если не ошибаюсь – Грибановка и Терповка, – найден труп, по документам при нём установлено, что это – смотритель товарных складов станции Калач А. С. Кулеш, а в записке, найденной при трупе, сказано, что Кулеш покончил с собой, будучи оскорблён несправедливым обвинением. «Адагуровцы» и все «порядочные» люди возмутились, начальник дороги Надеждин заставил духовенство Борисоглебска служить панихиду по самоубийце и атеисте, в Царицыне решили сделать то же самое.

За мною приехал на Крутую Лахметка, и вот мы с ним отправились в город, идём по улице, а по другой её стороне навстречу нам бойко шагает покойник Кулеш.

– Вот, чёрт, до чего на Кулеша похож! – удивлённо пробормотал Лахметка, но в следующую минуту мы оба убедились, что не «похож», а – воскрес из мёртвых, снял шляпу и, превесело улыбаясь, размахивает ею.

Затем он встал перед нами, настоящий, живой, с бородкой, в розовом галстуке и, радостно смеясь, спросил:

– Испугались?

И весьма оживлённо сообщил нам, что корреспонденцию о смерти своей он сам написал и послал в листок.

– Чтоб всем сукиным детям стыдно было, – убили человека за горсть проса!

Его худенькое счастливое лицо было лицом человека явно и радостно безумного.

Панихида, конечно, не состоялась, но разыгрался большой скандал на удовольствие всех врагов «поднадзорных», хотя Кулеша отправили куда-то в лечебницу. История эта немедленно стала известна по всей дороге, на Крутой меня стали немножко травить. А потом явился инспектор движения Сысоев, бывший офицер гвардии, большой, толстый, синещёкий, потевший голубым жиром. Тыкая меня пальцем в плечо, он ядовито храпел:

– Ну, что, а? Нигилисты, а? Просо воруете? Честные люди! Хо-хо-о!

После этого меня, с благословения начальства, начали травить уже, как собаки кошку, и я решил уйти.

– Терпи! Обойдётся! – утешал и уговаривал меня милейший Захар Ефимович Басаргин.

Но способность терпеть у меня слабо развита, и, сложив свои книжки в котомку, отказавшись от бесплатного билета до Царицына, вечером дождливого дня я отправился пешочком с Крутой в Москву.

Вот и всё.